

**Олдос Хаксли**

# **Время должно остановиться**

Aldous Huxley

Time Must Have A Stop

© Aldous Huxley, 1944

© Перевод. И. Моничев, 2017

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

\* \* \*

Но мысль – рабыня жизни, жизнь – забава  
Для времени, а время – мира  
страж — Должно найти когда-нибудь конец. У. Шекспир. Король  
Генрих IV [\[1\]](#)

# I

Себастьян Барнак вышел из читального зала публичной библиотеки и задержался в вестибюле, чтобы надеть свое поношенное пальто. Глядя на него, миссис Окэм почувствовала, как ее сердце пронзила сталь меча. Это маленькое, утонченное создание с ангельским личиком и светлыми вьющимися волосами было живым воплощением ее собственного, ее единственного, ее ушедшего милого сыночка.

Она заметила, что губы мальчика шевелились, пока он влезал в рукава пальто. Говорит сам с собой точно так же, как когда-то ее Фрэнки. Он повернулся и пошел к выходу мимо скамьи, на которой она сидела.

– Погода сегодня вечером промозглая, – сказала она громко, подчиняясь внезапно вспыхнувшему желанию ненадолго удержать этот живой призрак, повернуть воспоминание с острыми краями в своем израненном сердце.

Неожиданно выведенный из глубокой задумчивости Себастьян остановился, повернулся и несколько секунд непонимающе смотрел на нее. Затем до него дошел смысл этой по-матерински сочувственной улыбки. Взгляд его стал жестким. Такое с ним случалось и прежде. Женщина воспринимала его как одного из сладеньких детишек в колясках, которых всем им непременно хотелось погладить по головке. Надо бы проучить старую стерву! Но ему, как обычно, не хватило смелости и присутствия духа. И потому он лишь чуть заметно улыбнулся и сказал: да, вечер в самом деле выдался ненастным.

Миссис Окэм открыла сумочку и достала небольшую коробку из белого картона.

– Могу я тебя угостить?

Она протянула коробку к нему. Это было французское шоколадное печенье, любимое лакомство Фрэнки, впрочем, и ее тоже. Миссис Окэм питала слабость к сладостям.

Себастьян посмотрел на нее в нерешительности. Правильное произношение, одежда из твида, хотя и несколько бесформенная, хорошо подобрана и качественной выделки. Но сама женщина толстая и старая – лет сорока, не меньше, решил он. И колебался между искушением поставить это навязчивое существо на место и не менее острой тягой к вкуснейшим *langues de chat*[\[2\]](#). Она похожа на мопса, отметил он про себя, глядя на ее плоское и пухлое лицо. Розового бесшерстного мопса с плохой кожей на мордочке. После чего решил, что может принять «шоколадку», не жертвуя ни малой толикой собственного достоинства.

– Благодарю вас, – сказал Себастьян и одарил ее одной из тех полных очарования улыбок, которые на пожилых леди всегда действовали совершенно безотказно.

Быть семнадцатилетним, чувствовать, что обладаешь умом совершенно зрелого мужчины, а выглядеть подобием ангела делла Роббиа, которому не дашь и тринадцати, – какая абсурдная и унижительная участь! Но в прошлое Рождество он читал Ницше и знал, что должен Любить свою Судьбу. *Amor fati*[\[3\]](#), но только с долей здорового цинизма. Если люди готовы платить, чтобы поглазеть на того, кто выглядит моложе своих лет, отчего не дать им такую возможность?

– Какая вкуснятина!

Он снова улыбнулся ей, и уголки его губ уже были коричневыми от шоколада. Меч в сердце миссис Окэм с мучительной болью провернулся еще раз.

– Возьми всю коробку, – сказала она. Ее голос дрожал, в глазах блеснули слезы.

– Нет, что вы, я не могу...

– Возьми, – настаивала она. – Возьми же.

И она буквально втиснула коробку ему в руку – руку Фрэнки.

– О, спасибо... – Как раз на это Себастьян и надеялся, даже рассчитывал. У него уже накопился опыт общения со старыми и сентиментальными дурочками.

– У меня тоже когда-то был сынок, – надтреснутым голосом сказала миссис Окэм. – Очень похожий на тебя. Те же волосы и глаза...

Слезы потекли по ее щекам. Она сняла очки и протерла их. Потом высморкалась, встала и поспешила в читальный зал. Себастьян смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверью. Внезапно на него накатило ужасное чувство вины и стыда. Он посмотрел на коробку в своей руке. Какой-то мальчик должен был умереть, чтобы он сейчас лакомился *langues de chat*: и если бы его собственная мать была жива, она достигла бы примерно тех же лет, что и это несчастное создание в очках. И если бы умер он сам, то она тоже стала бы несчастной и сентиментальной. Под влиянием импульса Себастьян едва не выбросил коробку, но сдержался. Нет, это глупость, какое-то нелепое суеверие. Он сунул коробку в карман и вышел в окутанные туманом сумерки.

«Миллионы и миллионы», – шептал он, и невообразимая масштабность зла, казалось, только возрастала при каждом повторе этой фразы. По всему миру миллионы и миллионы мужчин и женщин испытывали боль, миллионы умирали вот в эту самую секунду, миллионы оплакивали их с искаженными мукой лицами, как у этой старой карги, со слезами, струящимися по щекам. И еще миллионы голодных, миллионы испуганных, нездоровых и не находящих умиротворения. Миллионы подвергались оскорблениям и побоям со стороны других миллионов – грубых и жестоких. И повсюду вонь отбросов, спиртного и давно не мытых тел; повсеместно все заражено тупостью и обезображено уродством. Ужас не исчезнет, даже если ты сам почувствуешь себя здоровым и счастливым, – ужас всегда рядом. За ближайшим углом или почти за каждой соседней дверью.

И когда Себастьян спускался по Хаверсток-Хилл, он чувствовал, как им полностью овладевает необъятная обезличенная тоска. Казалось, ничего больше не существовало, кроме смерти или нестерпимой боли.

И тут ему вспомнились слова из Китса: «Огромная всемирная агония!» Огромная агония. Он напряг память, чтобы вспомнить другие строки. «Никто не доберется до таких вершин...» Как же там дальше?

Никто не доберется до таких вершин, вещала эта тень ему, Но только тот, кого печалит вся Вселенной скорбь, Кто горем тем проникся до глубин

души, кому покоя нет...[4]

Как это верно! И наверняка Китс думал об этом холодным весенним вечером, спускаясь с холма в Хэмпстеде, так же, как сейчас сам Себастьян. Шел, останавливался, откашливался и думал о собственной смерти, как и всякий другой. Еле слышным шепотом Себастьян начал повторять строки:

Никто не доберется до таких вершин, вещала эта тень ему,Но только тот...

Но, боже мой, как же ужасно звучали эти строчки вслух! Никто не доберется до таких вершин, вещала эта тень ему, но только тот, кого, кому... Разве он сам мог не слышать этих повторов? Впрочем, Китс часто допускал небрежности. И гениальность не уберегала его от порой жутких ляпов и дурного вкуса. В «Эндимионе» попадались места, от которых только и можно было содрогнуться. А если учесть, что все это еще и имело отношение к Греции...

Себастьян улыбнулся с сочувственной иронией. Наступит день, когда он всем покажет, что можно сотворить на основе греческой мифологии. А пока он мысленно вернулся к словам, которые пришли на ум в библиотеке, когда он читал книжку Тарна по истории эллинской цивилизации. «Не думай о сушеных фигах!» – так должна была начинаться строчка. Или: «Не думайте о высушенных фигах...» Но ведь чем так плохи сушеные фиги? Рабов, например, сушеными фруктами не кормили. Им доставались только никуда больше не годные отбросы. «Не думайте о сгнивших фигах». Вот как! И определение оказывалось на слог короче, что всегда хорошо.

Не думайте о сгнивших фигах, об унижениях побоев,О стариках, что умереть боятся...

Нет, это невероятно плоско! Как ровная мостовая, укатанная паровым катком, как худшее из Вордсворта. А если так: «О стариках, которых смерть страшит»?

О стариках, которых смерть страшит,О женщинах...

Он надолго задумался, как в двух словах передать гнетущую жизнь в гинее. А потом из таинственного источника света и энергии, скрытого в его сознании, выступило превосходно подходящее сочетание: «О женщинах, что заперты по клеткам».

Себастьян не сдержал улыбки, когда воображение нарисовало ему эту картину – целый зоопарк из диких, не поддающихся приручению девиц, оглушительное карканье и щебет в просторном вольере для старых дев и вдовушек. Эти образы пригодятся для другой поэмы – той, в которой он сведет счеты со всем слабым полом. Но сейчас речь об Элладе – реальном историческом убожестве Греции, ее придуманной славе. Придуманной, конечно, когда речь шла о народе в целом, но наверняка доступной для отдельной личности, и в первую очередь – для поэта. Однажды, хоть пока и не ясно как и где, Себастьян сумеет до этой славы дотянуться, в чем у него не возникало ни тени сомнения. А сейчас важно не выставить себя дураком. Следовало смирять ностальгическую страсть, добавляя к экспрессии чуть-чуть иронии, сдабривая возделенный идеал щепоткой острой приправы абсурда. Совершенно забыв об умершем мальчике и о всемирной агонии, он угощался *langues de chat* из лежавшего в кармане запаса и с набитым ртом возобновил опьяняющий труд сочинителя.

Не думайте о сгнивших фигах, об унижениях побоев, О стариках, которых смерть страшит, о женщинах, что заперты по клеткам.

Но довольно истории. Теперь в ход пойдет фантазия.

*И – круглый год – в июне...*

Он помотал головой. «Круглый год» – словно на уроке географии недалекий директор описывает климат какого-нибудь Эквадора. «Хронический» или «застарелый» сами просились на замену. Возникавшие при этом ассоциации с варикозными венами и болтовней домработниц на кокни его порадовали.

В хроническом июне этих мест блаженных  
Какие только Алквиады не  
отступали бороду Платона!

Мерзость! Здесь не место именам собственным. Быть может, «какие только мускулы стальные»? Нет. Не точно. И тут же, как манна небесная, подсказка: «Надменные тяжеловесы». Да, да – «надменные тяжеловесы наклонялись». Он даже рассмеялся вслух. Стоило заменить Платона на мудрость, и у него получилось:

В хроническом июне этих мест блаженных  
Надменные тяжеловесы  
наклонялись над мудрости седую бородой.

Себастьян несколько раз со вкусом повторил это двустипение. Настал черед противоположного пола.

*Где-то рядом раздаются и звон струны, и пение флейт.*

Он шел, наморщив лоб, недовольный собой. Эти взметнувшиеся фигуры вакханок, эти груди и ягодицы у Праксителя, эти танцовщицы на амфорах – как же дьявольски трудно понять и описать их! Сжать, чтобы выразить суть! Слепить из этих обольстительных образов один чувственный комок, чтобы затем в едином порыве выдавить из него полный бокал словесного сока: пьянящего и возбуждающего, терпкого и сладострастного. Легче сказать, чем исполнить. Но его губы снова шевелились.

– Где-то рядом, – прошептал он.

Где-то рядом раздаются и звон струны, и пение флейт. Там круг за кругом вихрь кружится танца упругих и пластичных тел, Отброшены последние покровы с манящих плотских лун!

Себастьян вздохнул и покачал головой. Еще не совсем то, что нужно, но временно придется удовлетвориться этим. Он не заметил, как дошел до угла. Отправиться сразу домой или добраться до Бэнтри-плейс, встретить Сьюзен и дать ей послушать новые стихи? Немного подумав, Себастьян избрал второй вариант и повернул направо. Ему захотелось аудитории и аплодисментов.

...упругих и пластичных тел, Отброшены последние покровы с манящих плотских лун!

Но, быть может, вся вещь пока что слишком коротка? Да, будет неплохо вставить пару строф между этими пластичными телами и финалом, подобным сверканию пурпурных бенгальских огней. Покуситься даже на Пантеон, почему нет? Или взять что-то из Эсхила. Было бы занятно.

В сравнении с этим меркнут все трагедии, Фальшивы те возвышенные речи, что исторгают в муках рты...

Но боже милостивый! Вот же те бенгальские огни, которые неудержимо и даже непростительно сами рвутся в его стихи.



И ежечасно, поражая взгляд, над островами в море гиацинтовОткрыта  
взору яростная похоть...

Нет, нет, нет. Слишком расплывчато, слишком бесплотно, абстрактно!

Быки и юноши, изогнутые шеи лебедейИ нежные соски грудей  
прелестных.Какая торжествующая похоть,Зажженная ярчайшим из огней...

Но «ярчайшим» не соответствовало замыслу. Это слово означало только  
само себя, и ничего более. Ему нужен был эпитет, который показывал не  
только интенсивность огня, но придавал бы ему святости, страстно  
хранимой веры даже в сексуальном экстазе, оставаясь поэтичным (и  
религиозным – каждому свое!) и возвышая действие над обыденным  
людским существованием.

Он вернулся к началу, в надежде с разбега по инерции преодолеть  
возникшее препятствие.

И ежечасно, поражая взгляд, над островами в море гиацинтовБыки и  
юноши, изогнутые шеи лебедейИ нежные соски грудей прелестных.Какая  
торжествующая похоть,Зажженная... Зажженная...

Себастьян помедлил, и слово пришло.

Зажженная чистейшим из огней, от жара Истинного Света,Когда в своей  
невинности святой сплетаются в совокупленье Боги!

Но вот он уже свернул на Бэнтри-плейс, и, хотя окна пятого дома были  
закрыты и плотно занавешены, он мог слышать, как Сьюзен на уроке  
музыки играет мелодию Скарлатти, над которой билась всю зиму. Ему  
пришло в голову, что такая музыка, наверное, зазвучала, если бы пузырьки  
шампанского могли в строгом ритме всплывать к поверхности и лопаться с  
сухим и пикантным звуком, каким было само вино, из глубин которого они  
поднимались. Сравнение так понравилось Себастьяну, что он напрочь  
забыл, что еще никогда в жизни не пробовал шампанского. Нажимая на  
кнопку звонка, он завершил мысль, вообразив музыку даже более сухой и  
пикантной, как если бы ее исполняли на клавесине, а не на приторном  
«Блютнере» старого Пфайффера.

Сьюзен заметила его поверх рояля, стоило ему войти в музыкальный класс

– эти красиво очерченные, чуть приоткрытые губы и мягкие волосы, в которые ей всегда хотелось запустить пальцы (чего он не позволял), сейчас растрепанные ветром, беспорядочные, но такие привлекательные бледные завитки. Как мило, что он отклонился от своего маршрута и зашел за ней! Она чуть заметно, но радостно улыбнулась ему и при этом заметила в его волосах небольшие капельки воды, подобные восхитительной росе на капустных листьях – только у него они были еще меньше и лежали словно на шелковой подкладке. Если прикоснуться, они наверняка окажутся холодными как лед. Стоило ей подумать об этом, как левая рука стала попадать не по тем клавишам.

Престарелый профессор Пфайффер, который ходил из угла в угол зверем в клетке – небольшой, но раскормленный медведь в мятых брюках и с усами моржа, – вынул из угла рта сильно зажеванный окурок сигары и воскликнул по-немецки:

– Musik, musik!

Сделав над собой усилие, Сьюзен выбросила из головы росу в шелковистых кудрях, подхватила сонату заново с того места, где сбилась, и продолжила играть. К своей немалой досаде, она почувствовала, что покраснела.

Алые щеки и волосы, рыжеватые почти до красноты. Свекла и морковь, безжалостно отметил Себастьян; не нравилось ему и как становились видны ее десны, если Сьюзен расплывалась в улыбке, – впечатление чересчур «анатомическое».

Взяв заключительный аккорд, Сьюзен опустила руки на колени в ожидании вердикта учителя. Он последовал громоподобно сквозь облако сигарного дыма.

– Хорош, хорош, хорош, – и профессор Пфайффер хлопнул ее по плечу, словно погонял запряженную в коляску пони. Потом он повернулся к Себастьяну: – Унд здес у нас маленький Ариэль! Oder, наверное, дер маленький Пак[5] – нет?

И он подмигнул щелкой между своими тяжелыми ресницами, что, как ему представлялось, и выглядело забавно, и содержало толику свойственной людям культуры тонкой иронии.

Маленький Ариэль, маленький Пак... Дважды за день, и на этот раз без малейшей причины – только потому, что старый пузан считал себя остроумцем.

– Не будучи немцем, – язвительно отозвался Себастьян, – я, разумеется, не читал Шекспира и ничем не могу вам помочь.

– Дер Пак, дер Пак! – прогрохотал профессор Пфайффер и рассмеялся так бурно, что вызвал приступ своего извечного бронхита и закашлялся.

На лице Сьюзен отразилась неподдельная тревога. Это могло привести к бог весть каким последствиям. Она соскочила с винтового стульчика у рояля и, как только взрывы жутко бурлящего мокротой кашля профессора Пфайффера пошли на убыль, объявила, что им надо немедленно уходить. Ее мама просила сегодня непременно быть дома пораньше.

Профессор Пфайффер утер с глаз слезы, снова зажал в зубах то, что оставалось еще от сигары, пару раз похлопал Сьюзен по плечу все тем же жестом погонщика и попросил ни в коем случае не забыть, что он сказал ей по поводу трелей для пальцев правой руки. Затем, взяв со стола отделанную вставками из кедра серебряную шкатулку для сигар, которую благодарные ученики подарили ему на последний день рождения, он повернулся к Себастьяну, положил свою квадратную лапищу на плечо мальчику, а другой сунул ему сигары прямо под нос.

– Возьми одна, – сказал он вкрадчиво. – Возьми одна отличны «гавана». Мягкая, und garantiert[\[6\]](#), от нее не тошнить даже молошный поросенок.

– О, замолчите! – выкрикнул Себастьян в ярости, уже граничившей со слезами, а потом выскользнул из-под руки своего мучителя и выбежал из комнаты. Сьюзен чуть задержалась в нерешительности и тоже, не вымолвив больше ни слова, поспешила вон из класса. Профессор Пфайффер снова вынул изо рта огрызок сигары и бросил ей вслед:

– Быстро! Быстро! Наш маленький гениус сейчас плакать.

Дверь захлопнулась. Пренебрегая своим бронхитом, профессор Пфайффер снова разразился громким смехом. Два месяца назад «маленький гениус» взял одну из сигар и, пока Сьюзен старательно наигрывала «Лунную сонату», попыхивал минут пять. А затем последовал отчаянный рывок в

сторону туалета, но добежать туда вовремя не удалось. Профессор Пфайффер обладал здоровым средневековым чувством юмора. Для него лужа блевотины, оставшаяся на лестничной площадке, была едва ли не самой смешной шуткой со времен «Фауста».

## II

Он шел так быстро, что Сьюзен пришлось бежать, но все равно она догнала его уже у второго фонарного столба. Взяв его за руку, с нежностью пожала ее.

– Себастьян!

– Отцепись! – сказал он резко и стряхнул ее пальцы с себя. Ему не хотелось, чтобы кто-то успокаивал или утешал его.

Ну вот! Она снова сделала что-то не так. Но почему он до такой чудовищной степени чувствителен? И какого дьявола нужно вообще обращать внимание на глупости старого козла Пфайффи?

Какое-то время они просто молча шли рядом. Первой заговорила она:

– Ты написал сегодня новые стихи?

– Нет, – соврал Себастьян.

Сплетение богов в совокуплении потеряло весь свой жар и обратилось в пепел. После случившегося от самой мысли, что ему надо читать ей теперь эти строки, тошнило, как почти выворачивало наизнанку при виде вчерашних объедков и мысли о том, каковы они теперь на вкус.

Снова наступило молчание. Сейчас короткие каникулы, размышляла Сьюзен, и, поскольку приближались экзамены, в футбол никто не играл. Неужели он провел часть дня у этой мерзкой стервы Эсдейл? Под следующим фонарем она искоса посмотрела на него. Да, никаких сомнений. У него под глазами пролегли синяки. Свиньи! Ее внезапно переполнила злость – раздражение, порожденное ревностью, тем более болезненной, что о ней невозможно было даже поговорить. Она не имела на него никаких прав. Никогда и речи не заходило о том, что они больше, чем двоюродные брат и сестра. Почти родные. Кроме того, она ясно понимала, страдая от этого, что ему и в голову не приходило воспринимать

ее по-другому, иначе, так, как ей хотелось бы. А между тем, когда два года назад он сам попросил разрешения посмотреть, какая она без одежды, Сьюзен не только отказала ему, но и впала в полнейшую панику. Двумя днями позже она поделилась всем с Памелой Гроувз, и Памела, посещавшая одну из школ с прогрессивными методами преподавания, чьи родители были намного моложе, просто закатилась от хохота. Сколько переживаний на пустом месте! Да если Сьюзен хочет знать, то она со своими братьями и кузенами постоянно видят друг друга без всего! Да. И приятели братьев видели ее тоже. Так почему же не показать себя бедняге Себастьяну, если ему хочется? Какая глупая викторианская, пуританская стыдливость! Сьюзен даже стало стыдно за их с матушкой старомодные взгляды. В следующий раз, как только Себастьян попросит, она сразу же сдернет с себя пижаму и встанет перед ним, как она решила заранее, с видом римской матроны или кто там еще был изображен на гравюре с картины, Альма-Тадемы, висевшей в кабинете отца? Она с улыбкой поднимет руки, словно поправляя прическу. Несколько дней Сьюзен оттачивала каждое движение, репетируя перед зеркалом, пока не довела их до абсолютного совершенства. Но, увы, Себастьян больше не обращался к ней с подобной просьбой, а ей не хватало смелости проявить инициативу. Вот и получилось, что теперь он мог творить самые дикие безобразия с этой сучкой Эсдейл, а у Сьюзен не осталось ни прав, ни хотя бы повода накричать на него. Не говоря уже о том, чтобы вlepить ему пощечину, чего ей нестерпимо хотелось, и обзывать его по-всякому, и оттащить за волосы, и... заставить себя поцеловать.

– Ты, наверное, провел день у своей драгоценной миссис Эсдейл, – сказала она, стараясь вложить в интонацию презрение и моральное превосходство.

Себастьян, который шел потупив голову, вскинул на нее взгляд.

– А тебе-то какое дело до этого? – спросил он после паузы.

– Никакого. – Сьюзен передернула плечами и чуть слышно рассмеялась. Но внутренне была недовольна собой и пристыжена. Сколько раз она давала зарок никогда больше не показывать, что ей интересны его животные страсти, не слушать всех наводящих ужас подробностей, которые он описывал так живо, с демонстративным удовольствием! Но каждый раз любопытство брало верх, и она жадно внимала его рассказам. Внимала просто потому, что эти отчеты о том, как он занимается любовью с кем-то

другим, причиняли невыносимую боль. Но и потому тоже, что даже такое косвенное участие в его любовных делах, пусть чисто теоретическое и воображаемое, странным образом возбуждало ее и само по себе составляло часть чувственной связи между ними, духовного слияния – не удовлетворявшего, ужасно расстраивавшего, но – единения.

Себастьян смотрел в сторону, но внезапно снова повернулся к ней со странной улыбкой, похожей на улыбку триумфатора, человека, только что кого-то победившего.

– Хорошо, – сказал он. – Но учти, ты сама напросилась. Так что не вини меня, если твоя девичья скромность будет повергнута в шок.

Он издал грубоватый смешок и пошел дальше молча, в задумчивости потирая переносицу кончиком указательного пальца. Как же хорошо ей был знаком этот жест! Он безошибочно показывал, что Себастьян либо сочиняет стихи, либо размышляет, как лучше подать свою очередную историю.

Ох уж эти истории, эти необыкновенные истории! Сьюзен прожила в фантастическом мире, созданном Себастьяном, почти так же долго и насыщенно, как и в реальном мире. Даже, вероятно, более насыщенно, поскольку в реальности ей приходилось рассчитывать только на себя саму, натуру прозаическую, в то время как в мире его рассказов ей доставалась доля богатого воображения Себастьяна, и ее уносил с собой волнующий душу и увлекательный поток его слов.

Первую из таких историй, которую Сьюзен помнила ясно, Себастьян рассказал ей на пляже в Тенби тем летом (скорее всего, это было лето 1917-го), когда на общем торте, приготовленном к их совместному дню рождения, зажгли пять свечек. Среди выброшенных на берег водорослей они нашли тогда красный резиновый мяч, порванный почти пополам. Себастьян промыл его, чтобы очистить от набившегося внутрь песка. На влажной внутренней поверхности мяча обнаружился похожий на крупную бородавку нарост. Что это было? Только производители могли бы ответить. А для пятилетнего ребенка в наросте заключалась непостижимая тайна. Себастьян испытующе дотронулся до него пальцем. Это пуп на животике, прошептал он. Они сразу же украдкой огляделись, не слышит ли кто-нибудь: слово «пупок» легко попадало в категорию неприличных, такие не

следовало произносить вслух. Пупки у всех растут внутрь, продолжал Себастьян. А когда она спросила, откуда он знает, пустился в подробный рассказ о том, что на его глазах делал с одной маленькой девочкой в смотровом кабинете доктор Картер, когда тетушка Элис привела его к врачу из-за больного уха. Разрезал ее ножом – вот что делал доктор Картер, – разрезал большим ножом и вилкой, чтобы посмотреть на ее пупок изнутри. А если у тебя кожа оказывалась слишком твердой, доктора пускали в ход одну из тех пил, которыми мясники резали кости. Да, так и было, честно-преступно. И чтобы доказать это, он начал делать вид, что пилит мячик ребром ладони. Изношенная резина мяча поддавалась под давлением; рана делалась все шире и шире по мере того, как он погружал руку глубже в то, что виделось Сьюзен уже не мячом, а животиком маленькой девочки, и больше того – почти что ее собственным животом. «Ш-ш-ш-ш, ш-ш-ш-ш, ш-ш-ш-ш», – продолжал пилить Себастьян, уже добравшись пациенту чуть ли не до горла. От этого звука действительно кровь стыла в жилах, как от звона стальной пилы по кости. А потом, рассказывал Себастьян, когда разрез получался достаточно длинным, они тебя открывали. Вот так – он отделил одну половину мяча от другой. Выворачивали верхнюю часть наизнанку – вот так, чтобы помыть пупок изнутри с мылом и убрать с него всю грязь. Он принялся яростно скрести таинственную выпуклость, и его ногти так жутко шуршали по резине, что это наводило на Сьюзен неопиcуемый страх. Она вскрикнула и закрыла уши ладошками. На многие годы вперед доктор Картер стал для нее воплощением зла, и она начинала плакать, стоило ему приблизиться. Даже сейчас, когда она знала, какая чепуха вся эта сказка о пупке, вид его черного саквояжа и шкафов в его смотровой комнате, полных всевозможных стеклянных трубочек, сосудов и никелированных инструментов, наполнял ее смутной тревогой, от которой она никак не могла полностью избавиться вопреки всем доводам рассудка.

Дядя Джон Барнак часто уезжал из дома на несколько месяцев подряд, путешествуя по свету и пописывая статьи в левацкие газеты, из тех, что отец Сьюзен мог терпеть у себя только лишь в виде растопки для камина. А потому Себастьян значительную часть времени оставался на попечении своей тети Элис, живя в самом близком соседстве с ее младшим ребенком, маленькой девочкой, с которой его разница в возрасте составляла всего один день. И с ростом маленького тельца его живое воображение делалось развитым не по годам, а истории, которые он рассказывал ей – или, скорее, вслух сочинял для самого себя, вдохновляемый ее присутствием, – становились все более сложными и перегруженными подробностями.



Порой такая история могла продолжаться неделями и месяцами с бесконечной серией продолжений, сочиняемых по пути в школу и обратно, или за ужином перед газовым обогревателем в детской, или на открытой верхней палубе автобуса, где они усаживались вдвоем, пока скучные взрослые прятались от ветра на первом этаже. Был создан, например, целый эпос, который повествовался практически без перерывов в течение всего 1923 года, – сага о Ларниманах. Или, вернее, о Ла-а-арниманах, потому что название этого племени всегда произносилось шепотом и с обязательным ритуальным растяжением первого слога. Эти самые Ла-а-арниманы были семьей человекоподобных монстров-людоедов, которые жили в подземных туннелях, сходящихся к центральной пещере в точности под вольером для львов и тигров в зоопарке.

– Слушай! – шептал Себастьян каждый раз, когда они оказывались напротив клетки сибирского тигра. – Слушай! – И он с силой топал ногой в асфальт. – Там пустота. Ты уловила звук?

И, естественно, Сьюзен тоже слышала пустоту, а услышав, содрогалась при мысли о том, как Ла-а-арниманы сидели там в пятидесяти футах под ними рядом со сложно устроенным гудящим механизмом, помогавшим им пересчитывать огромные деньги, похищенные из сейфов Банка Англии, как поджаривали детишек, которых умыкали через подвальные люки, как разводили кобр, чтобы запустить потом в канализацию; идет себе человек утречком спокойно посидеть на унитазе, а оттуда вдруг показывается с шипением змеиная голова с распущенным капюшоном. Не то чтобы она до конца верила в это. Но даже если не верить, все равно получалось страшно. Эти жуткие Ла-а-арниманы с их кошачьими глазами, с необыкновенными электрическими пистолетами и с подземными американскими горками – конечно же, они никогда не жили под львиным вольером (хотя под землей там действительно ощущалась пустота, стоило топнуть ногой). Но все же они существовали. Для нее доказательством был факт, что они часто ей снились, а по утрам Сьюзен с крайней осторожностью глядела из-за углов и видела зверей, опасаясь кобр.

Впрочем, теперь Ларниманы далеко ушли в прошлое. Их место занял сначала частный сыщик. Потом (когда Себастьян прочитал одну из папиных книжек про революцию в России) – Троцкий. А затем настал черед Одиссея, чьи приключения летом и осенью 1926 года оказались куда более страшными, чем все, о чем когда-либо сообщал в своих репортажах

Гомер. Именно в истории про Одиссея Себастьян впервые включил действующими лицами девушек. Нет, они, конечно, фигурировали в его эпических фантазиях и прежде, но только как жертвы врачей-убийц, каннибалов, кобр и революционеров. (Все, чтобы у Сьюзен мурашки побежали по коже и она издала вскрик испуга!) Но вот в продолжении странствий Одиссея они начали выступать в совершенно иных ролях. Их преследовали, чтобы поцеловать, за ними подсматривали в замочные скважины, когда они переодевались, они плавали нагими в светящемся ночном море, когда Одиссею тоже вдруг приходило в голову освежиться.

Запретные темы, отталкивающие заманчивые, отвратительные в своей привлекательности! Себастьян поначалу касался их вскользь, мимоходом, так сказать, *pianissimo*<sup>[7]</sup> и *senza espressione*<sup>[8]</sup>, словно спешил скорее проскочить скучную часть, гаммы для разминки пальцев, чтобы приступить к романтической рапсодии непосредственно об Одиссее. *Pianissimo, senza espressione*, а затем – бам! – аккорд Скрябина посреди квартета Гайдна, и тема начинала звучать поразительно громко и внушительно! И вопреки всем усилиям воспринимать все это равнодушно и спокойно, как воспринимала бы Памела, Сьюзен не выдерживала, краснела, готова была разразиться возмущенными восклицаниями, заткнуть уши и бежать прочь, чтобы не слышать больше ни слова. Но всегда продолжала слушать. А порой, когда он прерывал повествование и задавал ей какой-нибудь прямой и жутко нескромный вопрос, она даже заставляла себя что-то мямлить на эту невозможную тему, упираясь взглядом в пол, или же, наоборот, начинала говорить неестественно громогласно с жеманными модуляциями в голосе, а потом, сама того не желая, прыскала от смеха.

Постепенно и Одиссея сошла на нет. У Сьюзен появились уроки музыки и заботы об оценках в будущем аттестате зрелости, а Себастьян бесконечно предавался чтению греческих и английских поэтов, сам пробуя сочинять стихи. На фантастические истории больше не оставалось времени, и даже когда им удавалось ненадолго встречаться, ему стало больше нравиться читать ей свои последние творения. Когда Сьюзен хвалила их, что случалось почти неизменно – поскольку она действительно считала их восхитительными, – лицо Себастьяна светилось от радости.

– Да, пожалуй, это в самом деле неплохо, – говорил он, скромничая, но его улыбка и сияние в глазах, которое невозможно было погасить, выдавали

истинные чувства. Но случилось, что некоторые строки были ей непонятны или не нравились; тогда он багровел от злости, обзывал ее дурой и лицемеркой. Или того хуже: саркастически заявлял, что ничего другого и не мог ожидать, поскольку все женщины наделены куриными мозгами, а музыканты славятся полным отсутствием ума; им вполне хватает пальцев и солнечного сплетения. Иногда его слова обижали, но гораздо чаще вызывали улыбку и ощущение, что в сравнении со столь явными проявлениями детской несдержанности сама Сьюзен выглядит восхитительно взрослой и, несмотря на поразительный поэтический дар, во многом превосходит его. Когда Себастьян начинал вести себя подобным образом, он показывал себя необычайно одаренным, но все же ребенком, и тогда в ней оживала другая сторона любви к нему – материнская и покровительственная.

А затем совершенно внезапно через несколько недель после начала нынешнего учебного года истории возобновились, но в совершенно ином ключе. Потому что теперь они стали не повестями о других, а как бы эпизодами автобиографии Себастьяна. Он начал рассказывать ей о миссис Эсдейл. Ребенок из его характера никуда не делся, ему все еще требовалась материнская забота, он нуждался в защите от последствий своих детских поступков. Но вот тот уже вполне взрослый юноша, к которому Сьюзен втайне питала совсем иные чувства, кого почти боготворила, стал любовником другой женщины. Она была старше Сьюзен, красивее и в миллион раз опытнее; богата, изящно одета, умело делала маникюр и пользовалась косметикой – словом, ни о каком сравнении и речи быть не могло. Сьюзен ни словом не давала ему понять, насколько ей все это претит, зато дневник ее пестрел исполненными горечи записями, а по ночам она зачастую засыпала, только уже выплакав в подушку все слезы.

Нахмурившись, она сейчас искоса бросила взгляд на своего спутника. Себастьян все еще в глубокой задумчивости ласкал свою переносицу.

– Давай-давай, – в ней вдруг разыграло чувство глубокой неприязни, – три хоботок своего вдохновения, пока не получится хоть что-то складное.

Себастьян вздрогнул и огляделся по сторонам. Его лицо приобрело обеспокоенное выражение.

– Что-то складное? – переспросил он с некоторой опаской.

– Все эти твои красивые речи и остроумные шутки якобы экспромтом, – пояснила она. – Ты, вероятно, считаешь, что я совсем не знаю тебя. Держу пари, ты слишком застенчив, чтобы сказать что-то уместное сразу, даже когда вы...

Она осеклась, не в силах заставить себя произнести фразу, которая выдала бы, насколько неприглядной выглядит для нее воображаемая картина их занятий любовью.

В другое время столь прямой намек на его робость, на унижительную немоту и косноязычие, которое овладевало им в незнакомой или слишком солидной компании, вызвал бы в нем приступ злости. Но в этот раз он был лишь, казалось, слегка задет, но больше заинтригован.

– Почему ты отказываешь мне в праве на маленькую ложь? – спросил он. – Самую крохотную. Искусства ради.

– Ты хочешь сказать, ради себя самого – чтобы выглядеть как персонаж Ноэла Кауарда.

– Как персонаж Конгрива, – возразил он.

– Да чей угодно! – сказала Сьюзен, довольная выпавшим случаем выплеснуть накопившиеся обиды, не показав их истинной природы и причины. – Любая замшелая ложь сойдет, лишь бы тебе не пришлось выставить себя таким, каков ты на самом деле...

– Тот же Дон Жуан, но лишенный дара красноречия, – сказал Себастьян. Эту фразу он придумал себе в утешение после того, как имел такой жалкий вид на рождественской вечеринке у Бовени. – А тебя бесит, что я пытаюсь направить разговор в нужное русло. Не будь уж слишком отъявленной педанткой.

И он улыбнулся ей с таким очарованием, что Сьюзен пришлось капитулировать.

– Договорились, – проворчала она. – Буду верить тебе, даже подозревая, что ты лжешь.

Он окончательно расплылся в улыбке; теперь это был счастливейший из

всех ангелов делла Роббиа.

– Даже зная наверняка, что я лгу, – уточнил он и в голос расхохотался. Это была по-настоящему тонкая шутка. Бедная старушка Сьюзен! Она **знала**, что его претензии на умение поддерживать умную светскую беседу – это миф. Но знала она и о том, как однажды он разговорился, сидя на верхней площадке автобуса, шедшего по Финчли-роуд, с молодой и красивой темноволосой женщиной, как эта женщина пригласила его к себе домой на чашку чая, слушала его стихи, призналась, что очень несчастлива с мужем. Под каким-то предлогом она вышла из гостиной, а всего минут пять спустя позвала его: «Мистер Барнак, мистер Барнак!..» И он пошел на зов, поднялся наверх, пересек лестничную площадку, через полуоткрытую дверь попал в почти совсем темную комнату, а потом почувствовал на себе ее обнаженные руки и губы, касавшиеся его лица. Сьюзен знала это наизусть и еще многое другое. Но вся прелесть ситуации заключалась в том, что никакой миссис Эсдейл не существовало. Имя и фамилию он позаимствовал из телефонного справочника, бледный овал лица – из альбома викторианских гравюр на металле, а остальное стало чистейшим плодом его фантазии. И тем не менее все, что вызывало возмущение бедняжки Сьюзен, – это плавная и поэтичная элегантность его рассказов!

– Сегодня на ней было черное кружевное нижнее белье, – начал импровизировать он, совершенно увлеченный выразительной картиной в духе Бердсли, которого обычно презирал.

– С нее станется! – сказала Сьюзен, неприязненно подумав о прочном белом хлопке, который носила сама.

Перед мысленным взором Себастьяна вставал образ Каллипиги в трусиках, вышитых гарусом по канве, окутанной паутиной арабесок. Она почему-то напомнила ему декоративную фарфоровую лошадь, серую в яблоках, с завитой гривой, и про себя он даже рассмеялся.

– Я сказал ей, что она – последняя археологическая находка. Пестрая Афродита Хэмпстедская.

– Лжец! – с жаром воскликнула Сьюзен. – Ты не говорил ей ничего подобного.

– Я даже собираюсь написать стихотворение о Пестрой Афродите, –

продолжал Себастьян, не обращая на ее слова внимания.

В его сознании уже вспыхнул ослепительный и шумный фейерверк сверкающих фраз.

– Татуировки на шее, пунктиры и завитки. Вот женственное оружие. Но нет ничего убийственнее тончайшего этого кружева на золотистой... Лучше будет: на бархате нежной кожи под самой ее поясницей...

И, право же, рифма получилась как нельзя кстати. Необычная и красивая рифма. «Оружие» и «кружева» – два крепких крюка, на которые можно было теперь навесить сколько угодно изящных брюссельских роз и велюровой кожи.

– Умоляю, заткнись! – сказала Сьюзен.

Но его губы продолжали двигаться:

– О, чудо чернильных узоров на кремовой ягодице! Ты взмахиваешь крылами, подобно волшебной птице, при каждом летящем шаге...

Внезапно он услышал, как его окликнули по имени, и позади действительно раздался топот летящих шагов.

– Какого дьявола?..

Они остановились и повернулись.

– Это Том Бовени, – сказала Сьюзен.

Он самый. Себастьян улыбнулся.

– Спорим на пять монет, он сразу же начнет с обычной дурацкой шутки вроде: «Сьюз, съешь арбуз?»

Шести с половиной футов ростом, трех футов в плечах и с двухфутовым брюхом Том налетел на них, как экспресс «Корнуоллская Ривьера».

– Басти, мой мальчик! – завопил он. – Как раз тебя-то я и искал. Вижу, с тобой наша милая Сьюзен. Привет, Сьюз, съешь арбуз?

Он рассмеялся собственной остроте и обрадовался, когда Себастьян и Сьюзен дружно расхохотались тоже. Такое с ним случалось редко.

– Хотел сказать тебе, – продолжал Том, – что все на мази.

– Что именно?

– Я уладил последние проблемы с ужином. Когда узнал, что по завершении семестра ты тоже уезжаешь за границу, решил устроить все в самом конце каникул.

Он усмехнулся и дружески похлопал Себастьяна по плечу. И этот туда же, отметила про себя Сьюзен. А потом ей пришло в голову, что к Себастьяну все относились так, а он этим пользовался. Умело пользовался.

– Ты доволен? – спросил Том.

Басти он воспринимал как свой талисман, как свое дитя, но в то же время как объект утонченной и светлой любви, которую он – вполне гетеросексуальный с виду юнец – не осознавал за собой, не понимал, что чувствует, а если бы и понимал, то не сумел бы подобрать для этого чувства определения. Он готов был на все, чтобы угодить своему малышу Басти.

Но вместо того, чтобы просиять от радости, Себастьян вдруг погрузился, чуть ли не перепугался.

– Право же, Том, – промямлил он. – Тебе не стоило... Не надо было так стараться из-за меня.

Тот рассмеялся и ободряюще стиснул ему плечо.

– Пустяки, приятель.

– А как же другие парни? Им же это неудобно, – сказал Себастьян, хватаясь за любую соломинку.

Но Том решительно отмахнул все сомнения в сторону. По его словам, остальным было решительно наплевать, когда состоится прощальная вечеринка – в начале или в конце каникул.

– Пьянка – она и есть пьянка, – тоном философа заявил он, но в этот момент Себастьян оборвал его так резко, что это получилось некрасиво даже с точки зрения элементарной вежливости.

– Нет, забудь об этом! – воскликнул он с обреченностью в голосе.

Воцарилось молчание. Том Бовени удивленно смотрел на него сверху вниз.

– Ты говоришь так, будто тебе ничего не надо. Ты не придешь? – спросил он, все еще слегка ошеломленный.

Себастьян понял свою ошибку и поспешил заверить, что идея сногсшибательная и ему ничего не хотелось бы больше. Что было правдой. Ужин в «Савое», шоу и ночной клуб как венец веселья – ничего подобного он раньше не пробовал. Но ему приходилось отказываться от приглашения по унизительно детской причине: у него попросту не было одежды для подобных мероприятий. А когда он уже рассчитывал, что все забыто и вопрос снят к всеобщему удовлетворению, появляется Том, и проблема возникает снова. Черт бы его побрал! Черт бы его побрал! Себастьян был решительно готов возненавидеть этого легкомысленного здоровяка за столь навязчивое проявление дружеской привязанности.

– Но если тебе хочется прийти, – напрягал извилины Том, пытаясь извлечь из услышанного здравый смысл, – то какого лешего ты отказываешься? – Он обратился к Сьюзен: – Быть может, ты знаешь ответ на эту загадку?

Сьюзен попала в затруднительное положение. Она, разумеется, знала о том, что дядя Джон из принципиальных соображений отказывался покупать Себастьяну вечерний костюм. В этом проявлялись самые дурные черты его характера. Но почему Себастьян должен стыдиться этого? Почему ему просто не рассказать все начистоту?

– Я, конечно, могу только предполагать... – осторожно начала она.

– Замолчи! Замолчи немедленно! – В приступе ярости Себастьян с такой силой ущипнул Сьюзен за руку, что она взвыла от боли. – Быть может, это научит тебя не лезть в мои дела, – прошептал он злобно и повернулся к Тому. И она с все возрастающим недоумением слышала, что, конечно же, он придет, что было крайне любезно со стороны Тома взять на себя все хлопоты и даже суметь изменить дату. Крайне любезно; и он даже сумел



улыбнуться Тому одной из своих фирменных ангельских улыбок.

– Ты же не мог подумать, что я закачу вечеринку без тебя, Басти? – Том Бовени снова стиснул плечо своему талисману, своему единственному ребенку, своему вундеркинду и своей тайной любви. – Сейчас, когда мне предстоит отправиться в Канаду, и только богу известно, свижусь ли с тобой опять. То есть с тобой и остальными парнями из Хаверстока, конечно, – поспешил поправиться он, а потом, чтобы обеспечить себе алиби в глазах Сьюзен, добавил проникновенно: – Если бы мы не устраивали мальчишник, ты бы тоже получила приглашение. Милая Сьюз, съешь весь арбуз!

Он хлопнул ее по спине и рассмеялся.

– А теперь мне пора лететь. Вообще-то у меня не было времени даже на разговор с тобой, но, если уж мне повезло и я встретил тебя, грех не воспользоваться случаем. До скорого, Басти. Пока, Сьюз.

Он развернулся и побежал легко и стильно, несмотря на свои габариты и вес, как профессиональный стайер, скрывшись в темноте, откуда только что возник. Они снова пошли дальше вдвоем.

– Прости, но я никак не возьму в толк, – сказала Сьюзен после продолжительной паузы, – почему ты просто не можешь сказать правду? Не твоя вина, что у тебя нет смокинга. И нет такого закона, который запрещал бы тебе надеть синий шерстяной костюм. Тебя не выставят из ресторана, если ты придешь в нем.

– О, силы небесные! – воскликнул Себастьян, не зная, как еще отреагировать, потому что ему нечем было крыть сводившую с ума справедливость ее слов.

– Но мне-то ты можешь объяснить, почему не сказал правды ему? – упорствовала Сьюзен.

– Не желаю никому ничего объяснять, – сказал он гордо, стремясь подчеркнуть, что тема исчерпана.

Сьюзен посмотрела на него, подумала, насколько же он нелеп в своей гордыне, и пожала плечами:

– Ты хочешь сказать, что у тебя нет разумного объяснения.

В снова наступившем затем молчании Себастьян тихо переживал всю горечь своей участи. Сьюзен была права, он не хотел объяснений, потому что не мог ничего объяснить. Но не из-за недостатка причин, а в силу их мучительной природы. Сначала эта старая корова в библиотеке; даже смерть ее сыночка не оправдывала сюсюканий с ним, как с младенцем в пеленках. Потом Пфайффер с его вонючими сигарами. А теперь еще и это, последнее унижение. Он не только выглядел совсем мальчишкой, хотя знал, что стократ умнее и способнее самых зрелых мужчин. У него не было даже нормальной одежды и остальных атрибутов, положенных ему по его реальному возрасту. Если бы он хорошо одевался и имел в достатке карманных денег, прочие унижения не были бы столь нестерпимыми. Будь он свободнее в расходах, имей более модное пальто, он легче выносил бы обманчивость своей внешности и фигуры. Но отец выдавал ему всего лишь шиллинг в неделю и принуждал донашивать дешевые вещи, пока в них не появлялись прорехи или не становились слишком коротки рукава. А уж о смокинге для сына он и слышать не хотел. Его облачение лишь подчеркивало хрупкость тела, которое так неопытно прикрывало; он был ребенком в детской одежде. И эта дуреха Сьюзен еще спрашивает, почему он не мог сказать Тому Бовени правду?

– «Amor Fati», – процитировала она. – Разве ты не говорил мне, что отныне это станет твоим девизом?

Себастьян не удостоил ее ответом.

Поглядывая на него, пока он шел рядом с мрачным лицом и до странности скованным, напряженным телом, Сьюзен почувствовала, как ее раздражение тает, уступая место материнской нежности. Мой бедный, мой дорогой! До какого же жалкого состояния он сумел себя довести! И по каким идиотским причинам! Переживать из-за смокинга! Зато она могла руку дать на отсечение, что у того же Тома Бовени никогда не было романа с красивой замужней женщиной. И вспомнив, как восторгался он недавно при упоминании миссис Эсдейл, Сьюзен по доброте душевной решила на вторую попытку.

– Ты не успел закончить рассказывать мне о черном кружевном нижнем белье, – напомнила она после слишком уж затянувшегося молчания.

Но на этот раз ничего не вышло; Себастьян помотал головой и даже не взглянул на нее.

– Ну, пожалуйста, – пробовала упрашивать она.

– Не хочу, – а когда Сьюзен стала настойчивее, сказал с напором: – Ты не поняла? Я не хочу сейчас разговаривать об этом.

Теперь он уже не находил ничего забавного в ее чрезмерной доверчивости. Если смотреть на вещи трезво и с правильной точки зрения, то вся эта болтовня об Эсдейл выглядела лишь еще одним унижением для него.

Он мысленно вернулся к тому жуткому вечеру два месяца назад. На выходе со станции подземки «Кэмден-Таун» торчала девица в голубом, вульгарно хорошенькая, с накрашенными губами и пышными волосами, отливавшими в желтизну. Он два или три раза прошел мимо, набираясь отваги, но чувствуя знакомую слабость в коленях, какую испытывал каждый раз, когда его вызывал к себе директор школы для нравоучительной беседы по поводу математики. До самого порога у него подводило низ живота, но потом, когда, постучавшись, он входил и усаживался напротив крупного и чрезвычайно тщательно выбритого лица, все оказывалось не так уж скверно. «Складывается впечатление, Себастьян, что ваша признанная одаренность в одном из предметов обучения служит для вас поводом пренебрегать работой над другими, которые не доставляют вам равноценного удовольствия». А заканчивалось все тем, что ему приходилось являться в школу на пару часов даже в короткие каникулы или решать ежедневно несколько задач сверх программы в течение месяца. То есть ничего страшного не происходило, ничего, чтобы оправдать тошнотворные предчувствия. Черпая мужество из этих размышлений, Себастьян подошел к девушке в голубом и сказал:

– Добрый вечер.

Поначалу она отказывалась воспринимать его всерьез.

– С таким-то мальчишкой? Да я потом умру от стыда!

Ему пришлось показать дарственную надпись на книге «Оксфордская антология греческой поэзии», которая случайно нашлась у него в кармане. «Дорогому Себастьяну в день 17-летия от дяди Юстаса Барнака. 1928 год».

Девушка в голубом прочитала эти слова вслух, с сомнением посмотрела на его лицо и снова вернулась к книге. От форзаца она наугад перешла сразу к середине томика.

– Ого! Да это на идиш! – Теперь она вгляделась в него с любопытством. – Вот уж ни за что бы не догадалась.

Себастьян подтвердил правоту догадки.

– И ты хочешь меня уверить, что можешь ее читать?

Он показал ей это на примере хора из «Агамемнона», чем убедил окончательно: тот, кто был способен на такое, уже явно не был ребенком. Но есть ли у него деньги? Себастьян достал бумажник и показал фунтовую купюру, все еще остававшуюся от подарка дяди Юстаса на Рождество.

Хорошо, сказала девица. Но у нее не было своей комнаты. Куда он собирался ее отвести?

Тетя Элис, Сьюзен и дядя Фред уехали на все выходные, и у них дома осталась только престарелая Эллен, которая, во-первых, неизменно ложилась спать ровно в девять, а во-вторых, была глуха как пень. Они могли отправиться туда, и он поймал такси.

О последовавшем затем кошмаре Себастьян не мог вспоминать без содрогания. Когда они оказались в его комнате, он обнаружил сначала ее резиновый корсет, а потом и тело, такое же бесчувственное, как и покрывавшая его резина. Вялые бессмысленные поцелуи; ее дыхание – изо рта разило пивом, луком и кариесом. Его собственное перевозбуждение, такое неистовое, что у него мгновенно улетучилось всякое физическое влечение. Затем спокойная холодность и возникшее следом чувство отвращения к тому, что лежало рядом, словно это был труп. Но труп хохотал и высказывал презрительное сострадание к его немочи.

Спускаясь к входной двери, девица попросила разрешения заглянуть в гостиную. У нее мгновенно округлились глаза, когда при включенном свете она узрела ее скромную роскошь.

– Ручная работа! – с восхищением сказала она, проходя мимо камина и пробегая пальцем по краске на парадном портрете дедушки Себастьяна.

После этого вопрос оказался для нее решенным. Она повернулась к Себастьяну и потребовала с него еще фунт. Но больше у него не было. Девушка в голубом выразительно плюхнулась на софу. Что ж, очень хорошо. Она подождет, пока он найдет деньги. Себастьян выгреб из карманов всю мелочь. Три шиллинга и одиннадцать пенсов. Нет, сказала она. Ее устроит только еще одна бумажка, еще фунт. И сиплым контральто она начала мурлыкать это слово:

– Фунт, фунт, фу-унтик.

На мотив песенки «Эти ирландские глаза».

– Не делайте этого, – взмолился он. Но песня зазвучала только громче. Она распевала во все горло.

– Фунт, фунт, фу-унтик, красивый, хрустящий такой...

Уже почти в слезах, Себастьян попытался урезонить ее: наверху спал слуга, да и соседей мог разбудить шум.

– Пусть все приходят, – сказала девица в голубом. – Милости просим!

– Да, но что они скажут? – Голос Себастьяна был еле слышен; у него дрожали губы.

Девица презрительно посмотрела на него, разразившись оглушительным и противным смехом.

– Так тебе и надо, маленький плакса, вот что они скажут. Отправился шляться по шлюхам, а самому надо было сидеть дома, чтобы мамочка вовремя сопلي утирала. – Она начала отбивать ритм. – Раз, два, три, а теперь все вместе. Ирландский фунт, английский фунт, бумажки дорожки-и-е...

На небольшом столике рядом с софой Себастьян заметил нож для бумаг из черепахового панциря с позолоченной ручкой, презентованный дяде Фреду по случаю 25-летия его работы в Сити и конкретно в компании «Фар-Истерн Инвестмент». Стоил он гораздо больше фунта. Схватив его, Себастьян попытался вложить нож ей в руку.

– Возьмите это взамен, – упрашивал он.

– Еще чего? Чтобы меня повязала полиция, как только я попытаюсь продать его? – и отпихнула нож в сторону. Взяв октавой ниже, но еще громче она завела свое: – Ирландский фунт...

– Замолчите! – в отчаянии воскликнул он. – Замолчите! Я найду для вас деньги. Честное слово, найду!

Девушка в голубом перестала распевать и посмотрела на свои часики.

– Так и быть. Даю тебе пять минут, – сказала она.

Себастьян выскочил из комнаты и рванулся вверх по лестнице. Минутой позже он уже барабанил в дверь, выходящую на одну из площадок.

– Эллен! Эллен!

Ответа не последовало. Глуха как пень. Проклятая старуха! Черт бы ее побрал! Он снова постучал и продолжал выкрикивать ее имя. Внезапно без всякого предупреждения дверь открылась, и на пороге показалась Эллен в ночном халате из серого фланелета, с седыми волосами, завязанными ленточками в два поросячьих хвостика, но без вставной челюсти, отчего ее круглое, как яблоко, лицо казалось провалившимся вниз. И когда она спросила, уж не пожар ли случился в доме, он с трудом понял вопрос. Сделав над собой огромное усилие, он изобразил самую ангельскую улыбку – ту самую, которая всегда позволяла добиваться от Эллен чего угодно всю их жизнь под одной крышей.

– Прости, Эллен, я не стал бы тебя так будить, но дело очень срочное.

– Какое дело? – спросила она, поворачиваясь к нему тем ухом, которое слышало немного лучше другого.

– Не могла бы ты одолжить мне фунт?

На ее лице не отразилось понимания, и ему пришлось прокричать:

– ФУНТ!

– Фунт? – теперь несколько изумленным эхом повторила она.

– Да, я одолжил деньги у приятеля, и он сейчас ждет внизу.

Беззубо шамкая, но сохраняя свой северный прононс, Эллен поинтересовалась, почему с приятелем нельзя рассчитаться завтра.

– Потому что он уезжает, – объяснил Себастьян. – Ему нужно в Ливерпуль.

– О, в Ливерпуль, – сказала Эллен совершенно другим тоном, словно все теперь представилось ей в ином свете.

– Он торопится на корабль? – спросила она.

– Да, отплывает в Америку! – прокричал Себастьян.

В Филадельфию. Рано утром отбывает в Филадельфию[9].

Он посмотрел на часы. Чуть больше минуты – и безобразные звуки ирландской песни раздадутся снова. Он улыбнулся Эллен еще более очаровательно.

– Сможешь меня выручить?

Старушка улыбнулась в ответ, взяла его руку и приложила на мгновение к щеке, а потом, не произнеся больше ни слова, направилась в глубину спальни за кошельком.

Когда все вернулись домой, уже в понедельник, Себастьян впервые рассказал про миссис Эсдейл, провожая Сьюзен после урока у Пфайффера. Утонченная, образованная, необузданно сладострастная Эсдейл в объятиях своего победоносного юного любовника. Такой стала обратная сторона медали, на лицевой стороне которой остались образы похабной девицы в голубом и испуганного, малодушного, никчемного мальчишки.

На углу Гланвил-плейс их пути расходились.

– Отправляйся прямо домой, – сказал Себастьян, прерывая долгое молчание. – А я пойду посмотрю, смогу ли застать отца.

И не дожидаясь ответа Сьюзен, он повернулся и быстро пошел прочь.

Сьюзен застыла на месте, глядя, как он торопливо двигался вдоль улицы, такой хрупкий и беспомощный, но маршировавший с решимостью отчаявшегося навстречу неизбежной неудаче. Потому что, конечно же, если бедный мальчик надеялся на доброту дяди Джона, он лишь напрашивался на новую душевную рану.

При свете уличного фонаря на углу его бледные волосы вдруг вспыхнули ярким ореолом взъерошенного пламени, а потом он свернул и пропал из виду. И в этом вся жизнь, размышляла Сьюзен, пустившись в путь дальше в одиночку. Черета уличных углов. Ты встречаешь что-то – необычное, красивое и желанное, а в следующий момент подходишь к очередному углу, за которым оно скрывается и исчезает навсегда. А если и не исчезает, то оказывается влюбленным в миссис Эсдейл.

Она поднялась по ступенькам крыльца дома 18 и позвонила. Ей открыла Эллен, но, прежде чем впустить, заставила тщательно вытереть подошвы о половик.

– Не хватало только, чтобы ты натащила грязи на мои ковры, – сказала она своим обычным ворчливым, но добродушным тоном.

Перед тем как подняться наверх, Сьюзен поздоровалась с матерью. Миссис Поулшот оказалась страшно занята и лишь мимоходом чмокнула дочь в щеку.

– Постарайся ничем не потревожить своего папочку, – посоветовала она. – Нынче вечером он что-то не в духе.

О Господи, подумала Сьюзен, которая страдала от перепадов настроений отца, сколько себя помнила.

– И переоденься в светло-голубое платье, – добавила миссис Поулшот. – Я хочу, чтобы дядя Юстас увидел, какая ты красавица в лучшем наряде.

А ей было глубоко наплевать, считал ее красавицей дядя Юстас или нет. И вообще, думала она, поднимаясь по лестнице, стоит ли даже пытаться конкурировать с замужней дамой, богатой, выписывавшей туалеты из Парижа и, вероятно, – хотя Себастьян странным образом ни разу не



упоминал об этом, – пользовавшейся самыми соблазнительными в мире духами.

Она включила в своей комнате газовый обогреватель, разделась и спустилась на полпролета лестницы в ванную. Все удовольствие от струй горячей воды портило неистребимое желание миссис Поулшот, чтобы в ее доме все пользовались только карболовым мылом. В результате, приняв ванну, всякий выходил из нее, распространяя аромат не миссис Эсдейл, а скорее хорошо вымытой собаки. Вот и Сьюзен принялась к себе, протянув руку за полотенцем, и скорчила гримасу отвращения, почувствовав, как пахнет ее чистое тело.

Спальня Себастьяна располагалась по другую сторону лестничной площадки от ее комнаты. И зная, что его нет, она смело вошла, выдвинула верхний ящик туалетного столика и достала безопасную бритву, которую он купил два месяца назад, когда ему померещилось, что у него начала расти борода.

Очень тщательно, как будто ей предстояло сначала танцевать в платье без рукавов, а потом провести исполненную любовных страстей ночь, она выбрила себе подмышки. Потом собрала все сбритые волоски, способные выдать ее, и положила бритву обратно в футляр.

### III

Себастьян тем временем шел по Гланвил-плейс, морща лоб и кусая губы. Сегодня, вероятно, у него оставался последний шанс добиться разрешения на покупку настоящего вечернего костюма, чтобы успеть к вечеринке Тома Бовени. Себастьян уже знал, что к ужину нынче вечером отца не ждали, завтра он отправлялся в Хаддерсфилд или куда-то там еще на важное совещание, возвращался в среду вечером, а в четверг утром они вдвоем должны были выехать во Флоренцию. Поэтому вопрос стоял ребром: сегодня или никогда.

«Вечерние наряды являются классовыми символами, и я считаю преступлением тратить деньги на бесполезные предметы роскоши, в то время как стольким достойным людям приходится жить впроголодь». Себастьян заранее знал все аргументы, к которым прибегнет отец. Но за этими аргументами все же стоял живой человек – властный, но справедливый, требовательный к другим, потому что был еще более требовательным к себе самому. И если к такому человеку найти правильный подход, может случиться, что те же аргументы не приведут к заранее известному жесткому выводу. На долгом и мучительном опыте Себастьян убедился, как важно никогда не показывать, насколько ты в чем-либо заинтересован, и не упорствовать понапрасну. Он должен попросить у отца смокинг, но так, чтобы отец не догадался, до какой степени он ему нужен. Стоит ему понять это, и отказ станет неизбежным. Формально он, конечно же, будет мотивирован причинами экономии и социалистической этики, но на самом деле, как Себастьян начал подозревать, отцу еще и доставляло определенное удовольствие, если он мог помешать исполнению слишком откровенно выраженных сыном желаний. Не угодить в эту ловушку, – и тогда, быть может, он не даст отцу и других, более возвышенных поводов для отказа. Однако для приведения задуманного в исполнение требовалось изрядное актерское мастерство, утонченность, а самое главное – присутствие духа, которого Себастьяну так часто не хватало прежде в самые ответственные моменты. Может быть, ему следовало заранее продумать план наступления, использовать блестящую и неожиданную стратегию...

Себастьян шел все это время, устремив взгляд на тротуар под ногами, но теперь задрал голову вверх, как будто этот самый совершенный и несокрушимый план был начертан на покрытом облаками небе, а ему оставалось только прочитать его и хорошо усвоить. Он поднял голову и внезапно увидел это на противоположной стороне улицы. Нет, не план, разумеется, а примитивную методистскую церковь, его церковь, единственное, что могло вечером привлечь внимание на Гланвил-Террас. Но сегодня, заблудившись в лабиринте своих горестей, Себастьян начисто забыл о ней. И сейчас она сама, как преданный друг, выросла перед ним с основанием, залитым зеленоватым светом газовых уличных фонарей, и верхней частью, которая делалась все темнее и темнее, удаляясь от света, пока узкий шпиль, сложенный из викторианского кирпича, не становился лишь черным силуэтом на фоне почти такого же черного и мутного лондонского неба. Все детали отделки, отличавшие здание от других, постепенно меркли и терялись вверху в таинственном единообразии, в беспредельном мраке небес над Лондоном. Но внизу фрагменты декора и орнаменты были видны ясно при ярком свете. Себастьян стоял у подножия церкви и смотрел. Все пережитые унижения и страх перед тем, как встретит его отец, куда-то пропали, и он испытал странный и необъяснимый прилив возвышенного волнения, которое это зрелище неизменно в нем вызывало.

О, маленькое убожество! Ты вдруг превращаешься в храм, Наполненный тем же величием святости, как Бурж или Элефанта, И ни преподобный Уилкинс, ни пресность воскресных молений Не могут тебе помешать зеленым прелестным цветком В Поэзию корни пустить...

Он повторил про себя начальные строчки стихотворения и снова посмотрел на предмет вдохновения, построенный в худший для методистской церкви период из самых дешевых материалов. Невероятно уродливое при дневном освещении сооружение. Но наступал час, когда включались фонари, и оно преисполнялось красоты и значительности, как мало что другое из всего, что Себастьяну доводилось видеть. И какой же была эта церковь на самом деле? Тем маленьким монстром, где воскресным утром собирались преподобный Уилкинс и его паства? Или вот этой восхитительной и безграничной мистерией, в чреве которой таились другие загадки? Себастьян встряхнулся и пошел дальше. На этот вопрос невозможно было получить простого ответа. Ты мог только попытаться сформулировать его в поэтической форме.

О, маленькое убожество! Ты вдруг превращаешься в храм, Наполненный тем же величием святости...

Дом номер 23 с отделанным штукатуркой фасадом был таким же высоким, как и остальные, стоявшие с ним в ряд. Себастьян прошел под колоннадой при входе, пересек обширный холл и с вернувшимся чувством тревоги, исчезнувшим ненадолго, стал подниматься по лестнице.

Первый пролет, второй, третий, еще один, и он оказался перед дверью квартиры отца. Себастьян уже поднял руку к звонку, но потом дал ей бессильно опуститься. Он чувствовал слабость, у него бешено колотилось сердце. Это был приступ слишком хорошо знакомого недуга, прилив трусости перед встречей с директором школы, лихорадка у порога. Он посмотрел на часы. Шесть сорок семь и тридцать секунд. Ровно в шесть сорок восемь надо будет позвонить, войти и сразу все выложить, как уж получится.

«Папа, ты просто обязан разрешить мне купить смокинг...» Он снова поднял руку и большим пальцем крепко надавил на кнопку звонка. Внутри квартиры раздался звук, похожий на громкое жужжание злобной осы. Он подождал полминуты и позвонил снова. Никакого ответа. Его последний шанс на глазах растворялся. В сознании Себастьяна разочарование от этой мысли густо смешалось с чувством огромного облегчения, словно ему дали отсрочку перед неизбежным наказанием. До вечеринки Тома Бовени оставалось все-таки еще недели четыре, а вот если бы отец оказался дома, ужасавший Себастьяна разговор уже начался бы. Как раз в этот самый момент.

**Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:**

[Перейти](#)